

УДК 882 Жуковский

А.С. Янушкевич

## ПУТЬ В.А. ЖУКОВСКОГО ОТ РУССКОЙ ИДИЛЛИИ К РУССКОЙ ПОВЕСТИ: ДЕРЕВЕНСКИЙ ТОПОС

*Статья посвящена осмыслению «деревенского топоса» Жуковского как с точки зрения его жанрового содержания (путь от русской идиллии к русской повести), так и в аспекте нарративных стратегий поэта (движение от лирики к эпосу). Делается попытка рассмотреть его деревенский дискурс как синтез этико-философских, общественно-политических и педагогических взглядов 1800–1840-х гг. и как органическую составную русской словесной культуры, как «форму времени».*

*Ключевые слова: деревенский топос, русская идиллия, русская повесть, нарративные стратегии.*

Два «Сельских кладбища» Жуковского 1802 и 1839 гг. стали своеобразной рамой в творческих исканиях поэта. В эту раму деревенского дискурса он вместил свои раздумья о малой родине – селе Мишенском Тульской губернии, о судьбе поселян и их образовании, о крепостных крестьянах, многочисленные рисунки окрестностей Белева и свои эксперименты в области новых форм поэзии. Деревенский дискурс первого русского романтика занял свое место и в историко-литературном процессе 1810–1820-х гг. как репрезентант поисков русской словесной культуры в формировании и становлении идей народности и национального искусства.

Многочисленные «чувствования поселянина», рожденные в недрах сентиментализма, были лишены конкретики деревенской жизни и насыщены риторикой. Деревенское пространство – это поистине «ландшафт моих воображений». Только Карамзин сумел внести в деревенский топос новое содержание: он прежде всего расширил его пространство за счет идей гуманизма. Его поселянка Лиза не просто «любить умеет», но и пытается отстоять свое человеческое достоинство. В «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев конкретизировал социальные проблемы русской деревни. От «Бедной Лизы» Карамзина и «Путешествия» Радищева к «Деревне» и «Повестям Белкина» Пушкина русская литература проделала огромный путь постижения провинциальной деревенской России. И на этом пути важнейший этап связан с именем Жуковского.

Когда в 1897 г. В.С. Соловьев в примечании к стихотворению «Родина русской поэзии», обратившись к элегии «Сельское кладбище» Жуковского, говорил, что она «может считаться началом истинно человеческой поэзии в России», то он настойчиво подчеркивал органичную связь новой поэзии с ее родиной – русской деревней, с атмосферой жизни провинциальной России:

На сельском кладбище явилась ты недаром,  
О гений сладостный земли моей родной [1. С. 347].

Через 100 лет один из лучших исследователей русской лирики пушкинской поры В.Э. Вацуро, акцентируя причины обращения Жуковского к переводу «Элегии, написанной на сельском кладбище» Томаса Грея, замечал: «Прежде всего в ней манифестировались центральные темы сентименталистской эстетики и философии: тема “естественного” и “чувствительного” человека, тема природы и – едва ли не самое важное – социальная тема внесловного равенства» [2. С. 48]. Но не менее значимо для автора книги об «элегической школе» русской поэзии было и то, что поэтика «Сельского кладбища» неразрывно связана с персонификацией элегического субъекта и формированием нового взгляда на окружающий мир. В отличие от чувствительного героя сентиментальной поэзии он самосознающая личность. Именно поэтому «распространяется душа» лирического героя, вбирая в себя деревенский топос как пространство русской жизни вообще.

«Юноша» из «Сельского кладбища» Жуковского – «почивших друг, певец уединенный», нашедший свой последний приют на сельском кладбище, – вряд ли может быть назван автобиографическим или лирическим героем. Его место и значение в элегии определяет автор: жизнь и судьба юноши – постскрипtum к тексту элегии. Он приходит в пространство сельской жизни и сельского кладбища уже в самом конце произведения (строфы 26–32 из 35), а эпитафия на его могиле (заключительные три строфы), выделенные курсивом, – слово автора о персонаже. Но для элегии Жуковского важен ее автопсихологический подтекст. «Юноша» – выразитель его жизненной философии, но не ее носитель. Он не больше чем «сочувственник». Жуковский же в дневниках и письмах к Александру Тургеневу, в лирике мишенско-муратовского и долбинского уединения 1805–1806 гг. осмысляет поэзию сельской жизни как свою жизненную философию и общественную позицию.

Поэт пытается осмыслить необходимость деревенского уединения для самоусовершенствования и творческого поиска. Так, читая в Мишенском сочинение немецкого философа и моралиста Христиана Гарве «Об обществе и уединении», он 19 июля 1805 г. записывает в дневнике: «Уединение есть занятие самим собою, обдумывание того, что видел в обществе, изучение природы, занятие какою-нибудь наукою» [3. Т. 13. С. 23]. С деревенской жизнью он связывает и планы будущей семейной жизни. Не чужда ему и социальная проблематика. В письме к А.И. Тургеневу и Д.Н. Блудову от декабря 1806 г. по поводу Манифеста 30 ноября 1806 г. «О составлении и образовании повсеместных временных ополчений или милиции» Жуковский особое значение придает проблеме простого народа, мужиков и их вознаграждения за участие в этой акции: «<...> определить бы и награду и для самих мужиков, и вот, мне кажется, благоприятный случай для дарования многих прав крестьянству, которые бы приблизили его несколько к свободному состоянию» [4. С. 26].

Весь этот разнообразный этико-философский и общественный контекст размышлений Жуковского 1805–1806 гг. о деревенской жизни и ее проблемах находит свое развитие в текстах его «деревенских» произведений. И дело не в том, что они написаны были в деревне, а в том, что в их центре – деревенская проблематика: сельские пейзажи, образы деревенских жителей, вопросы крестьянской жизни. В этом отношении принципиальное значение приобретают замыслы двух сочинений: перевод поэмы английского поэта Оливера

Гольдсмита «Опустевшая деревня» («The Desserted Village») и планы оригинальной описательной поэмы «Весна». Показательно, что интерес Жуковского к поэме Гольдсмита относится к 1802 г., но, как убедительно показал В.Н. Топоров, параллельная работа над переложением элегии Грея «Сельское кладбище» и поэмы Гольдсмита была невозможна, так как «в известных отношениях «элегическая» часть этой поэмы, наиболее привлекающая Жуковского и в конце-концов им только и переведенная позже, довольно сильно напоминает некоторые места "Греевой элегии"» [5. С. 22].

Но, вероятно, дело было и в том, что для освоения модели описательной поэмы еще не пришло время. Только в период своего деревенского уединения и лирического взрыва 1805–1806 гг. поэт возвращается к работе над переводом «Опустевшей деревни». И хотя из 430 стихов поэмы Гольдсмита он перевел лишь 102, которым у русского переводчика соответствует 115, можно говорить о внутренней целостности и законченной незаконченности этого текста. В нем Жуковский выразил свои чувства по поводу возвращения в родное Мишенское и ностальгию по утраченному раю. Уже первый стих: «О родина моя, Обурн благословенный!», рождающий поток восклицаний: «О сладостный Обурн! Как здесь я счастлив был!», «О, родина моя, о сладость прежних лет!», «О родина моя, где счастье процветало!», вводит читателя в атмосферу райских прежних дней. Но эта музыка счастливых воспоминаний скоро сменяется грустной мелодией утраты и многократным повторением вопросительного слова «где»:

Но где они? Где вы, луга, цветущий рай?  
Где игры поселян, весельем оживленных?  
Где пышность и краса полей одушевленных?  
Где счастье? Где любовь? Исчезло всё – их нет!.. (З. Т. I. С. 64–65).

И это «всё» – обобщение темы утраченных иллюзий. В.Н. Топоров убедительно показал через сравнение оригинала и подлинника, что многочисленные отклонения Жуковского нередко выступают как «места введения или концентрации “лично-биографического”, связанного с русскими реалиями и с самим Жуковским» [5. С. 23]. «Поэтические отзвуки» Мишенского, о которых исследователь говорит в примечании к этому наблюдению [5. С. 79. Примеч. 43], расширяют пространство текста-источника и определяют его русскую прописку, являясь прологом к пушкинской «Деревне».

Но не менее важно другое: Жуковский разрабатывает нарративные стратегии описательной поэмы о русской деревне. Многочисленные планы поэмы «Весна», восходящие к образцам мировой поэзии (немецкого поэта Э. Клейста, французского – Сен-Ламбера, английского – Дж. Томсона), позволяют говорить, что «содержанием будущей поэмы должна была стать история возрождения, становления, самопознания творческой личности» [6. С. 121]. Тем значимее, что эта история развивается в контексте деревенского дискурса. Поэт ищет концепты этого дискурса, определяет его нарратив через систему следующих определений: «Возвращение на родину и призывание музы. <...> Жизнь сельская семейственная. <...> Восхождение солнца – жаворонок – стада. Вид деревни. Кладбище и дом сельского священника». Изображение сельского человека, *благочестивого* крестьянина. <...> Деревенские игры.

Больница. Училище. <...> Любить природу и уметь ею восхищаться» и т.д. (З. Т. 4. С. 360–365). Стихотворный зачин к поэме фиксирует вхождение поэта в этот мир как обитель уединения и творчества:

<...> Смиранный друг полей,  
Простившийся надолго с пыльным градом,  
Спешит в село, чтоб прелесть вешних дней  
И тишину вкусить в уединенье!  
О мирное к пенатам возвращенье! (З. Т. 4. С. 310–311).

Деревенский топос включает в себя установку на описание, изображение весны, сельского быта и сельского человека, творческого процесса. От дискриптивной поэзии своих предшественников, от «Садов» Делилия, переводом которых будет заниматься друг-соперник Александр Воейков, Жуковский идет к созданию «русской поэмы», в центре которой образ самосознающего поэта и процесс его весеннего, деревенского возрождения. Деревня из абстрактного топоса превращается в российское пространство и мир творческого созидания.

Разумеется, вхождение в этот мир, стремление его воссоздать и описать имело свои границы. Поэт редуцирует социальный пафос «Опустевшей деревни» Гольдсмита, хотя в его зарисовках утраченного рая и его превращения в пустыню нельзя не услышать инвективы будущей «Деревни» Пушкина:

Дни счастья! Их нет! Короткою рукой  
Оратай отчужден от хижин родной!  
Где прежде нив моря, блистая, волновались,  
Где роши и холмы стадами оглашались,  
Там ныне хищников владычество одно!  
Там всё под горами богатств погребено!  
Там муками сует безумие страдает!  
Там роскошь посреди сокровищ издыхает... (З. Т. 1. С. 66).

Деревенский дискурс раннего Жуковского невозможно представить без элегии «Вечер» (1806). В ней зарисовки сельского быта не самоцельны. Поэт не забывает упомянуть и стада, которые “бегут к реке”, сказать о рыбаке, плывущем «у берега меж кустами», описать, как «... плуги обратив, по глыбистым браздам // С полей оратаи съезжают» (З. Т. 1. С. 75). Но главное – музыка деревенского вечера. Образы песни, Музы, лиры, гармонии, звуков заполняют пространство элегии и определяют позицию ее автора. «Так петь есть мой удел...» – в финале своей песенной сюиты Жуковский формулирует свою позицию и своеобразие деревенского дискурса.

Деревенский дискурс раннего Жуковского, поэтически воссозданный в элегиях и опытах описательной поэмы, – это прежде всего поиск самой манеры изображения новой сферы бытия, выработка новых жанровых моделей, а главное – расширение самого топоса деревни до масштабов общероссийского пространства и его озвучивание. Мирозидательным началом этого дискурса становятся музыка жизни и образ самосознающего поэта. Он пытается заразить читателя миром деревенской природы и заставляет его вслушиваться в мелодии ее бескрайних просторов. Он приучает ухо русского читателя слушать музыку русской деревни. Его песни и романсы как особое выражение лирической суггестии буквально сотканы из мелодий деревенского топоса.

В нем еще почти не присутствуют темы и образы крестьянской жизни, но зато отчетливо звучат ее мелодии и возникает особая «плавность движения зрительных картин» [2. С. 70].

«И солнце, восходя, по рощам голубым // Спокойно блеск свой разливат-ет» [3. Т. 1. С. 77]; «Поля, холмы родные, // Родного неба милый свет, // Знакомые потоки <...> О родина святая, // Какое сердце не дрожит, // Тебя благославляя?» [3. Т. 1. С. 227]; «На сумраке листок трепещущий блесит, // Смущая тишину паденьем... [3. Т. 2. С. 21]; «О родина! все дни твои прекрасны! // Где б ни был я, но всё с тобой // Душой» [3. Т. 2. С. 36]; «И дым клубится из печей; // И будит мельницу ручей; // И тихо рдеет бор; // И звучно в нем звучит топор» [3. Т. 2. С. 67]; «Природа вся с душою говорила» [3. Т. 2. С. 133] – эти и многие другие фрагменты из стихотворений Жуковского входили в сердце и сознание читателя. И в этом смысле его деревенская сюита, сопрягающая сельские пейзажи с рефлексией о родине, – это, по его собственному выражению, «Посол души, внимаемый душой...» [3. Т. 2. С. 135].

Балладное семилетие поэта (1808–1814), в течение которого он произвел своими «маленькими драмами» переворот в русской словесной культуре и общественном сознании, то, что внятно выговорил его собрат по «Арзамасу» Ф. Вигель: «Надобен был его чудный дар, чтобы заставить нас не только без отвращения читать его баллады, но, наконец, даже полюбить их. Не знаю, испортил ли он нам вкус; по крайней мере создал нам новые ощущения, новые наслаждения. Вот и начало у нас романтизма» [7. С. 342–343], – внесло коррективы в деревенский дискурс. Кажется, в этих драмах борения с судьбой нет ему места: их шиллеровско-бюргеровские источники рождают другой мир. Но русские баллады поэта-романтика, и прежде всего «Людмила» и «Светлана», – ощутимый прорыв русской литературы в мир народности и национального сознания. Их фольклорно-мифологический колорит, образная система открыли окно в мир русской души. Антропологизация мира народной (деревенской) жизни – вот важнейшее завоевание «русского балладника». На смену «бедной Лизе», крестьянке, которая «тоже любить умеет», пришли героини, обыкновенные русские девушки, которые способны бороться за свою любовь, вступать в поединок с судьбой. Предпосылая своей первой балладе «Людмила» подзаголовок: «Русская баллада. Подражание Биргеровой Леноре», Жуковский акцентировал момент соревнования с балладным классиком. Он не пытался переложить немецкую балладу на русские нравы. Он стремился дать национальную модель популярного, но малоизвестного в России жанра, а главное – воссоздать русский мир и русскую душу. Нравственные проблемы личности, фольклорно-мифологический колорит вносили в деревенский дискурс драматизм и психологическое начало. Фантастический и таинственный колорит, сны и видения, ведьмы, мертвецы привлекали внимание читателя к загадкам простых материй народной жизни.

И тем не менее поэт в 1816 г. почти на три года покидает «территорию фантастического». 21 октября 1816 г. в письме к А.И. Тургеневу он сообщает:

Между тем написал, т.е. перевел с немецкого пьесу под титулом «Овсяный кисель»; не думай, что этот кисель был для «Арзамаса»; нет, но надеюсь, что он покажется вкусным для арзамасцев, хотя и не разведен на бессмыслице. Это перевод из Гебеля, вероятно, тебе неизвестного поэта, ибо он писал на Швабском диалекте и для поселян. Но я ничего лучше не

знаю. Поэзия во всем совершенстве простоты и непорочности. Переведу еще многое. Совершенно новый и нам еще неизвестный род [4. С. 164].

Чтение «Овсяного киселя» на заседании «Арзамаса» в конце 1816 г., а затем в 1817 г. на 31-м заседании Общества любителей российской словесности при Имп. Московском университете, подряд три публикации в различных изданиях – свидетельство того, что Жуковский придавал своей идиллии особое значение. Начиная с третьего прижизненного издания 1824 г. идиллия входила в рубрику «Сельские стихотворения». Несмотря на то, что «Овсяный кисель» был переводом стихотворения немецкого поэта И.П. Гебеля «Das Habermtus», русский поэт почувствовал важные резервы его смысла для русской словесности. Русский балладник на глазах читающей публики превращался в русского идиллика и приучал ее к новой поэзии. «Поэзия во всем совершенстве простоты и непорочности» расширяла пространство провинциальной, деревенской жизни и обостряла интерес к простым материям быта. Благодаря выбору гекзаметра происходило развитие повествовательного рода поэзии. Идиллические опыты Жуковского корреспондировали с внедрением в русскую поэзию эпической поэзии Гомера. Перевод «Илиады» Гнедича и обращение к поэзии Овидия и Вергилия самого Жуковского активизировали рождение национального лиро-эпоса. Перевод из Гебеля был не просто «вольным», но и «своевольным». Достаточно посмотреть на заключительные стихи:

Вот с серпами пришли и Иван, и Лука, и Дуняша. <...>  
 Вот и Гнедко потащился на мельницу с возом тяжелым;  
 Начал жернов молоть; и зернышки стали мукою;  
 Вот молочка надоила от пестрой коровки родная  
 Полный горшочек; сварила кисель, чтоб детушкам кушать;  
 Детушки скушали, ложки обтерли, сказали: «спасибо» (З. Т. 2. С. 36) –

и становится ясно: переводчик стремился к русификации текста немецкого поэта. Но делал это осторожно и целенаправленно: «<...> он попытался воспроизвести самый способ мышления русского крестьянина» [8. С. 125]. Весь поэтический строй «Овсяного киселя» – это сфера народного, крестьянского быта и стихия национального бытия. В цитированном выше письме к А.И. Тургеневу, где Жуковский говорит о причинах обращения к переводу «сельских стихотворений» Гебеля, он, в частности, замечает:

Поэзия час от часу становится для меня чем-то возвышенным... Не надобно думать, что она только забава воображения! Этим она может быть только для Петербургского света. Но она должна иметь влияние на душу своего народа, и она будет иметь это благотворное влияние, если поэт обратит свой дар к этой цели. *Поэзия принадлежит к народному воспитанию.* И дай Бог в течение жизни сделать хоть шаг к этой прекрасной цели (курсив мой. – А.Я.) [4. С. 163].

Этот эстетический манифест поэта, как убедительно показал И. Виноцкий, был реализован в поэтической семантике «Овсяного киселя». Ориентация на разные слои русского общества и разные вкусы расширяла само пространство поэтической рефлексии. Деревенский дискурс идиллического мирообраза обрел черты общенационального масштаба. Как остроумно замечает исследователь: «Выбор русского киселя в качестве праздничного угощения был символическим. Поэт как бы приглашал за рождественский стол соотечественников самых

разных убеждений, состояний и вкусов» [9. С. 69]. Концепция народного воспитания получала свою реализацию через последовательное приобщение читающей публики к идеям национальной жизни и ее мирообразу.

В центре идиллий Жуковского (кроме «Овсяного киселя») им были переложены на русский язык и другие «Алеманнские стихотворения» Гебеля: «Утренняя звезда», «Тленность», «Летний вечер», «*Деревенский* сторож в полночь», «Воскресное утро в *деревне*») – природа, будни, мысли обитателей того пространства, которое можно назвать деревенским. Русский поэт это акцентирует и подчеркивает отсутствующими у Гебеля уточнениями: «деревенский», «в деревне». Но это пространство в совокупности содержания и в поэтической системе обретает масштаб своеобразного космоса национально-го бытия. Произрастание из зернышка колоса, мотив жатвы, сельского труда и трапезы в «Овсяном киселе», мысли о жизни и смерти, о божественном Промысле деревенского сторожа, разговор внука и бабушки о тайнах жизни, о тленности и вечности, путь утренней звезды, освещающей жизнь селянина и предвосхищающей восход солнца, поэзия летнего вечера и приход воскресного праздника на «смену заботливо-трудной недели» – все эти события сельской жизни складывались в единую картину буден и праздников вечных тружеников – крестьян. Лишенные социального пафоса, эти на первый взгляд идиллические сценки превращаются у Жуковского в летопись той идеальной жизни, которую хотел видеть Жуковский в окружающем его социуме. Он не идеализировал деревенскую жизнь, тем более жизнь крепостных крестьян: известно, сколько он сделал для освобождения их отдельных представителей. Он с помощью своего немецкого собрата попытался воспитать в русском читателе уважение и любовь к этому миру.

Идиллии Жуковского завораживают своей картинностью. Размеренный ритм гекзаметра и белого пятистопного ямба способствует воссозданию несуетного, но пронизанного высшими смыслами бытия, где голоса природы и Бога, пение птиц, движение светил, смена времен года и суток, отзвуки вечной жизни сливаются в единую симфонию патриархального мира. В течение буквально двух-трех лет он ввел в русское культурное сознание новый мирообраз, поистине разрыхляя русскую душу для вслушивания в голоса национальной стихии. И в этом смысле он выступил в роли сеятеля зерен деревенской темы в русской словесной культуре.

Следующее десятилетие (1818–1828 гг.) – период активной педагогической деятельности Жуковского. Учитель русского языка великой княгини Александры Федоровны и наставник наследника, великого князя Александра Николаевича – два этапа этого сложного, но важного пути поэта отмечены активным постижением проблем национальной истории. Воспитание и обучение наследника стало и для самого учителя школой осмысления государственной власти, ее взаимоотношений с обществом и народом. Это десятилетие вобрало в себя уроки первого заграничного путешествия, когда Жуковский воочию увидел Европу, познакомился на примере прусского королевского двора с институтами высшей власти, а во время посещения Швейцарии с демократическим миропорядком; трагедию декабристского движения и его участников через судьбу братьев Тургеневых; конфликт с молодым императором по поводу оппозиционных настроений в обществе и обвинений в свой

адрес. «Педагогическая поэма» Жуковского не была дворцовой идиллией и не превратила его в придворного.

Итогом его раздумий стал журнал «Собиратель», два номера которого появились в 1829 г. По-видимому, конфликт с Николаем I не позволил осуществить в полной мере замысел периодического издания. В планах к «Собирателю» Жуковский пишет: «Каждые две недели будет выходить книжка». Материалы к журналу, хранящиеся в архиве поэта, содержат интересные тексты, связанные с развитием его деревенского дискурса. То, что это должно было произойти, кажется закономерным. Размышляя в статье «Полезность истории для государей», открывающей первый номер журнала, об острых вопросах национальной политики монарха, Жуковский не мог пройти мимо проблемы взаимоотношений народа и власти.

*Уважай закон и научи уважать его своим примером: закон, пренебрегаемый Царем, не будет храним и народом. Люби и распространяй просвещение: оно сильнейшая подпора благонамеренной власти; народ без просвещения есть народ без достоинства; им кажется легко управлять только тому, кто хочет властвовать для одной власти; но из слепых рабов легче сделать свирепых мятежников, нежели из подданных просвещенных, умеющих ценить благо порядка и законов. <...> Любовь к свободе в Царе утверждает любовь к повиновению в подданных. Владычествуй не силою, а порядком: истинное могущество Государя не в числе его воинов, а в твердом благосостоянии народа. <...> Люби народ свой: без любви Царя к народу нет любви народа к Царю [10. № 1. С. 11] –*

эти фрагменты из статьи намечают новые черты деревенского дискурса – социально-публицистическое начало. На страницах журнала не назойливо, но последовательно возникает мотив «власти земли». Статьи «Природа, преобразованная человеком», «Уважение древних римлян к земледелию», текст шиллеровской загадки «Плуг» («Der Pflug») – гимн земледельцу и его ратному труду. Вслед за Плинием Жуковский говорит о том, что «полевые работы <...> были главным и самым почтенным упражнением наших предков», он подчеркивает «уважение к землепашеству», когда «великие люди так же пеклись о удобрении поля, как о победе, и засеивали землю с таким же тщанием, с каким разбивали военные станы свои» [10. № 2. С. 28–29]. Вместе с тем статья «Уважение древних римлян к земледелию» заканчивается характерным вопросом:

*Но в наши времена самые сии поля оставлены на произвол обремененных цепями рабов и заклеянных железом преступников: земля, как и прежде, не отвращает слуха от наших молений; но можем ли уповать, чтобы к рабам была она столько же благосклонна, как некогда к полководцам? [10. № 2. С. 29].*

Можно только догадываться, к кому обращен этот вопрос, но царственный ученик, читатель журнала, не мог не обратить на него внимания и не задуматься.

Пожалуй, особый интерес для эволюции деревенского дискурса в творчестве Жуковского представляют два незавершенных текста: один черновой под условным заглавием: «Переписка», другой – «Подмосковная деревня. Русская повесть», перебеленный, с указанием: «Писано рукою П.А. Плетнёва». Не исключено, что эти тексты были связаны общим замыслом. Но очевидно одно: они своеобразно развивали педагогические идеи Жуковского,



которые он пытался реализовать в «Собирателе». Только местом их реализации становится русская деревня.

Еще в годы юности на страницах редактируемого «Вестника Европы» Жуковский в рецензии на перевод Настасьей Плещеевой книги французской писательницы Мари-Жанны Ле Пренс де Бомон «Училище бедных» попытался изложить свою программу образования для простолюдинов. Подробно говоря о формировании специальной библиотеки для поселян и ремесленников, о необходимости иметь «Академию для просвещения простолюдинов», автор завершает статью следующим пассажем: «Желаем искренно, чтобы <...> наконец, в России и самые хижины земледельцев сделались жилищем людей образованных, следовательно, счастливых и знающих цену своего счастья!» [11. С. 76]<sup>1</sup>. Через двадцать лет он возвращается к этой проблеме, во многом предвосхищая идеи Льва Толстого. И герой «Переписки», думающей о создании «народной школы», и герой «Подмосковной деревни», излагающей в специальном журнале свою программу воспитания, – предшественники яснополянского помещика.

Жуковский мучительно ищет язык для прозаической повести. Повествование от первого лица он заменяет объективным рассказом. Традиционный жанр романа в письмах сменяет «русская повесть». Деревенские помещики, их семьи, подробные описания сельской жизни, картины природы и усадьбы – всё это не просто антураж, а органичная часть быта и бытия провинциальной России. Через два года появятся «Повести Белкина» Пушкина, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя – книги народной жизни, в центре которых – обыкновенный человек и простые материи жизни. И Жуковский в первое издание книги «Баллад и повестей», вышедшей одновременно с ними, включает «Дедушкины рассказы», переложения идиллий Гебеля и повестей Саути. Три книги 1831 г. – эти три своеобразных поэтических мира – выразили потребность в национальном эпосе, обозначили три пути его формирования.

Что касается публикуемых ниже текстов, оставшихся в архиве поэта среди материалов к «Собирателю», то они интересны как эксперименты в области прозаического языка, как своеобразный синтез деревенского и педагогического дискурса.

«Переписка» под заглавием «Письмо к издателю», с подписью NN и указанием на место и дату написания: «Село Покровское. 1829 июня 12», была через два года опубликована в другом педагогическом журнале Жуковского – «Муравейник» (1831. № 2. С. 1–12). Ее включение в данную статью обусловлено двумя моментами: возможностью знакомства с черновым вариантом и ее отсутствием во всех собраниях сочинений поэта: «Письмо к издателю» так и осталось на страницах малотиражного «Муравейника» и стало текстом, почти не известным последующему поколению читателей, да и исследователей [12. С. 293–296].

---

<sup>1</sup> Показательно, что в архиве поэта (РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 21) сохранился печатный экземпляр рецензии: листки, вырванные из «Вестника Европы», с характерной правкой автора: кроме стилистических изменений, Жуковский зачеркивает первый и последний абзацы и меняет заглавие: «Нечто о просвещении поселян», тем самым превращая рецензию на книгу в программную статью.

## I.

## [Переписка]

Л. 2 об.

Июля. [Февраля 20] 2. 1829. [Москва]. С.Петербург

Мы [сбираемся в] не на шутку собираемся в деревню. Я радуюсь мыслию, что увижу свою родину, которую так давно покинул. Жена радуется, воображая спокойствие, уединение и деятельность, посвященную семейной жизни; дети, которые никогда не покидали [Москвы] Петербурга, работают воображением, стараясь наперед угадать, что такое деревня, [деревенская жизнь], большое озеро, старинный каменный дом на горе.

Я переселяюсь в деревню на несколько лет; хочу [устроить свое хозяйство] заняться своим хозяйством, [в то же время], как следует помещику, то есть пожить для пользы моих крестьян и утвердить на их счастье [на основаниях] собственное мое благосостояние. В то же время и я и жена [хотим] имеем намерение сделаться [содержателями] инспекторами благородного пансиона, составленного из восьми детей, шести наших и двух моего брата, и попечителями народной школы, которая заведется по приезду нашем на мою родину и в которую приняты будут мальчики и девочки [из нашего села] нашей деревни.

Для [нашего] моего хозяйства я не делаю наперед никаких пышных планов. [Знаю] Уверен в одном: [благосостояние] успех зависит от знания своего постоянства, умеренности и порядка в его исполнении. [Надобно видеть ясно свою цель и потом благоразумно спрашивать у места и обстоятельств, что нужно для достижения этой цели, как этой цели достигнуть]. Знание – знай решительно чего хочешь, какой имеешь способ, каким правилам должен следовать; постоянство и умеренность – думай беспрестанно о том, на что один раз решился. Действуй без спешки, спрашиваясь с обстоятельствами; не думай их пересилить, а [тихо] давать им хорошее направление; наконец порядок начинать с начала и не перепрыгивать к концу через середину. Из всего этого вы можете [догадаться] заключить, что я еду в деревню не с гордыми замыслами разрушителя, а с скромными желаниями образователя. Я много видел в моих путешествиях, много собрал полезных знаний и в тишине кабинета и в обществе просвещенных людей. Но этот запас есть не что иное как жертва, которую намерен я благоговейно приносить могущим богам места и времени. Без их оракула ничто не удастся.

Л. 3.

Что же касается до воспитания, то это было другое: тут могу я действовать вольнее, ибо знаю характер детей моих и знаком с хорошими методами. Но и здесь я враг всякой системы. Имей общие правила: остальные укажут обстоятельства. [Но об этом предмете буду подробно говорить в других моих письмах].

[Теперь хочу] Прежде всего мне надобно познакомить вас со всеми моими и брата Ардалиона и с будущим местом моего пребывания. Жену мою вы знаете. Из наших детей вы знакомы с одними только старшими близнецами Григорием и Иваном. Но это знакомство сделали вы с ними в их колыбели. Обоим теперь почти одиннадцать лет. Я очень доволен сердцем Гриши: оно склонно ко всему доброму; он кажется будет иметь здравый ум. Еще не умею сказать ничего о его характере: воля его не проснулась; надеюсь, что ум, созревая, пробудит ее, а чувство должности, которое буду строго укоренять в нем, сделает ее твердою. Иван гораздо живее, [имеет более деятельности] в уме, любопытен, одарен хорошою памятью, вообще имеет более для всего таланта. Ум его столько же дельный, гораздо любопытнее и оживлен воображением. Он за всё принимается с большим жаром, но еще как ребенок не имеет постоянства: он утвердится в нем [нрзб.] и развитием душевных способностей и успехом. Они в семье у нас слывут Кастором и Поллуком. Петруша, который моложе их годом, премилый мальчик, совершенно добросердечен, неглуп, но ветрен и великий лентяй. [Маша] Вера, девяти лет, удивительный и странный ребенок. Сердце ее прекрасное, но ум ее представляется мне каким-то необыкновенным феноменом, которого я по сию пору разгадать не умею; он, можно сказать, беспрестанно переходит от блистательного [откровения] света к [совершенному] глубокому затмению. Она совершенная недотрога: то развернется, то свернется, а от чего угадать нельзя. Она может сделаться прелестным творением, если только живость ее оступенится. Но в этом-то и [затруднения] и трудность. Надобно уметь [найти] узду для ее [вертяного] гения. Лилия, кроткий, благоразумный ребенок: она не имеет гениальности Машиной, никогда не будет из нее того, что могло бы быть из сестры ее, когда бы нам удалось овладеть ею; но образовать, то есть сделать из нее всё то, что позволяет ее особенная натура, будет легко, и с нею нельзя бояться неудачи. Софья, которой еще не более пяти лет, игрушка всего нашего семейства: она обещает иметь много ума, теперь уже показывает глубокую чувствительность и, верно, будет иметь

твердый, оригинальный характер. Она [буфон] нашей детской труппы.

Теперь вы знакомы с главными действующими лицами начинающейся нашей драмы. Дай Бог, чтобы из этой драмы не вышло ни печальной трагедии, ни смешной комедии, а просто приятная, занимательная семейственная картина. Всего плана ее я не знаю: и мое дело стараться хорошо самому играть мою роль и заставлять других хорошо играть ее. Пожелайте успеха. *[Напротив этого и следующего фрагментов, выделенных отчеркиванием, стоит на полях значок #, что скорее всего означает перемену их местами.]*

О брате Ардалионе я не имею нужды говорить вам: хотя вы и давно не видели его, но вы найдете его точно таким же, каким он был за [12]14 лет перед сим. Всё тот же чудак, важный характером, добрый сердцем и забавный умом. Он не отстал от привычки говорить пословицы, делать сравнения [по большей части смешные] и рассказывать анекдоты. Сожалею, но вы не знали прелестной жены его. Ее не было в Москве в то время, когда вы через нее проезжали. Она умерла в мае

### Л. 3 об.

прошлого года. [Когда-нибудь опишу вам ее] Мой бедный брат осиротел совершенно, переселился в дом наш с детьми и хочет быть главным инспектором классов в нашем пансионе. Дети его очень милы и образованны; на них осталось благословение матери; во всех их привычках, чувствах и мыслях ошутительно святое влияние души ее. Почитаю великим счастьем для собственных детей моих, что они будут вместе с ними: в них будут иметь они живое наставление. Старшему Леониду одиннадцать лет, а [Вере] Маше, его сестре, десять.

*[Далее л. 3 об.–4 об. заполнены опубликованными в «Собирателе» материалами: «Мыслями, заимствованными из древних и новых классиков», статьей «Общество человеческое, преобразованное христианством»].*

### Л. 5.

Остается описать ту сцену, на которой будет разыгран первый акт нашей пьесы. Деревня моя, в которой считается более тысячи душ, находится, как вам известно, в Новгородской губернии, в Валдайском уезде. И прадед, и дед, и отец мой жилали в ней с своими семействами большую часть года от начала весны до первого зимнего пути, по которому обыкновенно отправлялись в Москву, где и проводили всю зиму. Хлебосоольство и гостеприимство были добродетелью нашего семейства. В нем переход от старинных дедовских нравов к обычаям [нынешним] новейшим [сделался] совершился неприметно: [не утратив ничего из своей почтенной оригинальности] святая старина сохранила права свои; образование новейшее заступило ее место, не изгладив драгоценных ее воспоминаний. Благодаря здравому уму и верному чувству деда моего и отца: [они оставили мне такое наследство, которое их благословение] память их жива посреди их [потомства] внуков. [Я буду стараться свято сохранять их наследие.] Предания семейственные столь же драгоценны, как и предания народные.

Дом мой каменный, весьма поместительный, представляет глазам памятник трех поколений. Он построен прадедом; дед мой и отец распространили его, то есть каждый сделал свою пристройку, не переменив ничего в [бывшем] прежнем здании. [И теперь вы видите] Всё вместе составляет теперь огромную, довольно безобразную каменную массу: в середине старинные палаты времен Петра Великого в два [этажа] жилья с высокою желтою кровлею; под жилыми горницами огромные подвалы и выходы с сводами. С правой руки огромная пристройка, сделанная моим дедом: архитектура ее напоминает о временах Елизаветы и слоге Растрелли. С левой – прекрасное здание с колокольнею и террасою. построенное отцом моим по плану Гваренги. Обе пристройки соединены с главным корпусом так, что в нем не нужно было делать никакой перемены. Из огромной старинной залы есть [выход] дверь на [огромное] широкое каменное крыльцо или лучше сказать на террасу, над которою верхнее жилье поддерживает каменная аркада. На этой террасе стоят теперь вдоль стены длинные дубовые лавки, на коих мой прадед любил сидеть после обеда один или с гостями и которые чисты и гладки как стекло от долгого употребления. Сойдешь с крыльца – одна дверь ведет направо, на половину дедовскую, другая налево, на половину отцовскую. В прадедовском доме, где ни одна старинная мебель не поменяла своего места, жил мой дед, жил мой отец, буду жить и я: оно есть святынище семейства. Дедовская половина принадлежит гостям и праздникам. Отцовская половина отдана новому поколению. Я не переменяю ничего: прибавлю только то, чего потребуют обстоятельства.

С внутренним расположением дома познакомлю вас после. Теперь опишу окрестности. Надобно отдать справедливость моему прадеду, он имел чувство прекрасного в природе, хотя не был знаком ни с Томпсоном, ни с Клейстом, ни с Делилем. Он выбрал для жилища своего самое живописное место. Дом стоит на горе довольно высокой [с одной стороны отлог, с другой крутой], окнами на

полдень. Полуденная и восточная сторона горы сходит прекрасным зеленым скатом к большому озеру, которое разливается по обширной равнине, огибая гору с запада

### Л. 6.

и востока и составляя два глубоких залива [западный и восточный]. Перед домом озеро [весьма широко] довольно широко, более пяти верст в поперечнике. Можно сказать, что наша гора теряется в нем нечувствительным склоном: нет берега; чистая вода плещет на зеленый дерн и кое-где, как [бархатная] кудрявая опушка, растет мелкий, частый тростник, в коем укрываются [лебеди] дикие утки. Слево, то есть на восток от дома, входит в озеро длинный перешейком довольно большой полуостров, на коем растет прекрасная липовая роща. [В тени этой рощи] Посреди сего полуострова на открытом месте построена прадедом моим каменная церковь; дом священника стоит на берегу озера, а в тени рощи, под навесом лип кладбище, посреди коего в старинной часовне покоятся мои предки. Посреди озера, там, где оно наиболее обширно, против самых окон дома находится остров, покрытый живописным кустарником; он называется рыбацким, ибо служит сборным местом моих промышленников, когда производится на озере моем рыбная ловля. Противный берег озера с одной стороны усеян прекрасными купами дерев, между которыми, вдоль берега, против церкви, мелькают дома крестьян моих; а с другой образует обширные луга, за коими подымаются неприметно необозримые хлебные поля, сливающиеся с горизонтом, на коем [синеет] сосновый лес, принадлежащий к моему владению.

На востоке гора моя сходит также неприметным склоном к восточному заливу озера и к берегам быстрой излучистой реки, на устье которой построена большая мучная и пыльная мельница. Она окружена огромными темными соснами. По скату реки расположено село. Мимо его [к реке идет большая дорога] через реку и по всему противному берегу озера идет большая дорога, видимая из окон дома, [теряющаяся на горизонте] выходящая между пашен и наконец исчезающая за горизонтом. От сей дороги к дому, мимо деревни с одной стороны и больших каменных служб, за коими видна каменная ограда регулярного и плодового сада, с другой ведет прямо из дома аллея из старых, дуплистых ив, посаженных еще моим дедом; она примыкает к просеке прекрасной березовой рощи, которая защищает дом наш с севера.

Восточная сторона дома есть самая живописная. Здесь гора образует утесистую стремнину, покрытую кустарником; несколько высоких холмов, находящихся между сею крутизною и озером, образуют долины, извивающиеся между ними в разных направлениях. Один холм, отделившийся от прочих, покрыт зеленым дерном; на вершине его растет несколько дубов, которые называются ардалионовки, ибо они посажены прадедом моим Ардалионом; средний холм, и самый большой, оброс кудрявыми деревьями: липами, березами и кленами; остальные представляют массы диких, один на другой набросанных утесов, заросших густым кустарником. В самом диком месте из огромного камня бьет ключ, который называется в селе Гремячим; вода его набирается в водоеме, над коим построена часовня, и потом серебряною струею, журча и сверкая, по камням [летят] бежит через долину и вливается в озеро.

### Л. 6 об.

Но я замечаю, что [письмо мое сделалось бесконечным] письмо мое сделалось целою книгою. Извините; говоря о себе и своих, я заговорился. [Впредь буду умереннее. Не обещаю и впредь быть умереннее, ибо вы хотите, чтобы я был для вас верным летописцем]. Не знаю, буду ли я впредь умереннее. Знаю только то, что вы со временем получите подробную летопись села Покровского. Простите.

Посылаю вам маленький план окрестностей села моего; он сделан моими силами, от руки, пером, и очень худо, но имея его перед глазами, вы легче поймете мое описание. *[На полях л. 5 об. имеется подробный план, дающий зрительное представление о данном описании].*

Село Покровское. 1829. Июня 12.

N. N.

<sup>x</sup> Против самого устья сего ручья выходит из озера прекрасная речка, которая вровень с берегами течет по широкому дну долины. Она покрыта живописным кустарником, вдали ограничивает другое маленькое озеро, усыпанное мелкими островами и окруженное рощами, сквозь кои мелькают деревни и нивы. За этим озером в летние месяцы садится солнце, и тогда картина бывает очаровательная. *[Этот фрагмент, отмеченный карандашом на полях и отмеченный значком <sup>x</sup>, видимо, должен быть вставлен в предшествующий текст]* [13. Л. 2 об.–3 об., 5–6 об.].

## II.

## Л. 13.

**Подмосковная деревня.  
Русская повесть.  
Вступление.**

За Москвой, верстах в сорока, вправо от большой Коломенской дороги, живет в деревне своей помещик Лугов. Он все свое время посвящает хозяйству и воспитанию детей. Сыну его Андрюше десять лет. Катя, старшая дочь, моложе брата двумя годами, а другая, Лиза, тремя с половиною. По кончине жены своей Лугов собирался было в Петербург, чтобы там лучше воспитать детей своих. Но одно обстоятельство переменяло его намерение. Скончался зять его Залесин. Сестра Лугова просила у брата позволения переехать из Рязани к нему в деревню с тем, что она будет смотреть за воспитанием его дочерей, а он бы не оставил ее Ваню, ровесника Андрюши. Привыкнув к деревенской жизни, Лугов рад был, что избавился от дальней поездки. Сестра его, женщина умная и хорошо воспитанная, могла заменить мать его детям. Сам он всегда любил учение. В книгах у него недостатка не было. Хотелось только ему заманить к себе в деревню для товарищества какого-нибудь умного и скромного молодого человека, у которого бы посвежее были сведения о нынешнем ходе наук. В это время прибыл из-за границы в бедную свою деревеньку молодой сосед его Пригорский. Он несколько лет путешествовал по разным государствам из любви к учению и рассеянности. Наконец ему наскучила кочевая жизнь. У Лугова нашел он порядок, тишину и ласковый прием.

Л. 13 об.

Его воображение пленилось картиной счастливого семейства. Он просил соседа, чтобы ему позволено было разделять общие труды их по воспитанию детей.

Еще в молодости разлучился Лугов с меньшим братом своим, который, наконец, женившись в Петербурге на богатой девице, утвердился там навсегда. Одному хозяйство, а другому служба не позволяли как-нибудь свидеться. Теперь общая забота о детях заставила их более заниматься друг другом. Они долго передавали взаимно мысли свои об их воспитании. Каждый защищал свое мнение. Напоследок положено было, чтобы старший брат, сильнее привязанный к своим правилам, сообщал в Петербург подробные известия о занятиях и успехах детей своих. Лугов учредил порядок: отправлять к брату в виде журнала каждую неделю все, что у них было читано, о чем говорено и пр., и пр.

Лугова журнал составляется из шести отделений:

Преподавание наук. Здесь он рассматривает не только преподаваемые науки детям, но самого себя и даже их в отношении к наукам. Не бывши никогда учителем по форме, он смотрит на всякую науку как на предмет ежедневных наших нужд, говорит о ней языком не книжным, но всеобщим разговорным и все отвлеченные истины превращает в практические занятия. Его замечания о детях касаются их понятливости, непредвиденных затруднений в учении, их характера, слабостей и утверждения добрых в них качеств. Говоря о себе, рассказывает он, что и как ему удалось сделать для детей хорошего, нового или поправить ошибочного.

Л. 14.

Прогулки. Рассказ касается всего их общества. Всякие любопытные явления в природе, примечательные произведения природы или рук человеческих, встречаемые ими, видимые ими занятия людей, их образ жизни, увеселения их, заботы, нужды: все входит в него в это отделение. Здесь он старается показать, как вкус и чувство раскрываются в его детях.

Разговоры домашние. Пригорский особенно бывает предметом его рассказов в этом отделении. Путешественник занимает общество, давая ему понятия о всем, им виденном в своих странствиях. Лугов составляет из этого отдельные повествования, которые сильно действуют на воображение детей.

Чтение. Он рассматривает каждую книгу, русскую или чужестранную, которая занимает их общество; делает из них выписки и рассказывает, что способствовало наиболее к образованию детей его.

Увеселения. В их обществе развитие талантов соединено с другими забавами детского возраста. Подробности об их маленьких праздниках, где музыка и танцевание занимали детей. В этом отделении более подробно вносит о занятиях г-жи Залесиной. Ее замечания о характерах детей.

Посторонние известия. Все, что действовало на детей извне: объявление новостей, извещения о бедных, приглашения в гости и проч. [13. Л. 13–14].

Оба текста, подготовленные для «Собирателя», соединили раздумья Жуковского-поэта и воспитателя наследника. Мир русской деревни, озвученный в его поэзии как российское пространство, как элегический и идиллический топос, наполняется проблемами социальной жизни. Чтение сочинений Ф. Фенелона, И.Я. Энгеля, В. Гейнзе, Ф. Ансильона, Э.М. Арндта, представителей так называемой «политической педагогики» [14. С. 482–507], в период подготовки планов обучения наследника и издания «Собирателя», обостряет чутье поэта к «живым струнам общества». Среди не вошедших в «Собиратель» материалов находится статья, восходящая к сборнику Иоганна Якоба Энгеля «Fürstenspiegel» («Зерцало для князей»), в центре которой проблема взаимоотношений государя и народа.

Рассматривая различные стадии этих взаимоотношений, Жуковский заключительную часть статьи посвящает вопросу просвещения народа, чтобы не допустить его к мятежу. Он резюмирует:

Но настоящая причина всякого возмущения есть почти всегда само правительство. Будь оно благоразумно, пекись оно с прямотошiem о благе народном, и в народе не будет расположения к возмущению, и никакой возмутитель не подумает волновать его, ибо он не будет надеяться на успех своего замысла, напротив будет бояться привязанности народа к правителю. Где Правитель любит народное благо, там народ любит власть правителя. Там власть есть благо.

Не уважать народ свой есть совершенное безумство в Государе, есть что-то чудовищное, похожее на сумасшествие. Кто образует народ, кто доставляет ему просвещение, кто действует на его нравственность, кто возбуждает в нем честолюбие благородное, кто приводит в движение все его слова? Государь – законодатель, просветитель, представитель, вождь народа? И так народ делается достойным уважения только тогда, когда его Правитель дал ему для того способы! Если же он не достоин уважения, то в этом вина его Правителя! И так не народ свой, а себя должен презирать Правитель, если не может уважать своего народа (З. Т. 13. С. 302).

Вряд ли подобная инвектива могла проникнуть на страницы журнала, предназначенного для воспитания и образования наследника, тем более в атмосфере последекабрьских событий 1825 г. и обострившегося конфликта царя с оппозицией, главой которой называли Жуковского. Но для эволюции деревенского топоса она показательна с точки зрения как своего содержания, так и повествовательных стратегий. Путь Жуковского к политической публицистике и эпической поэзии – звенья одной цепи. В 1834 г. он создаст цикл «Народных песен» и гимн «Боже, Царя храни!» и выступит как историк и идеолог николаевского царствования [15], но идеи просвещения народа, мысли о положении крестьянства, обострившиеся в связи с событиями европейской революции 1848 г., не будут его покидать до самой смерти.

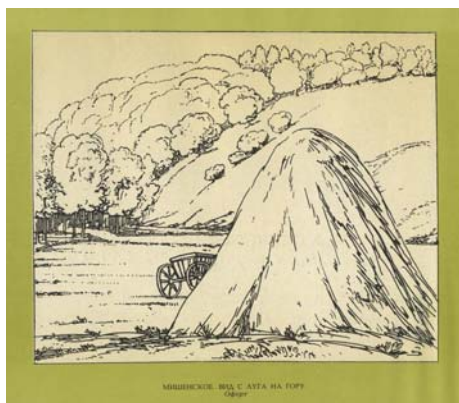
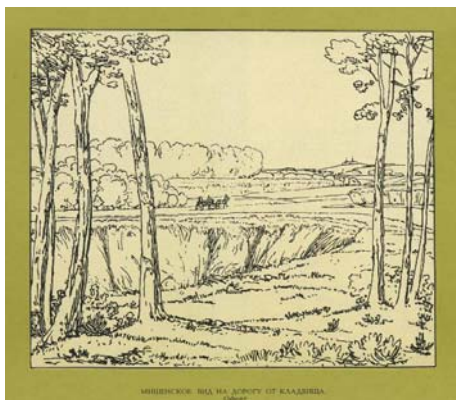
Поэзия деревенской жизни в творческом сознании Жуковского включает два компонента: вербальный и визуальный. В стихотворениях этот топос живет как память, как «посол души, внимаемый душой». Анафоры, вопросительная интонация формируют мирообраз душевного и природного простора, бесконечной дали и взаимоотражений:

Ты помнишь ли наш пруд спокойный,  
И тень от ив в час полдня знойный,  
И над водой от стада гул нестройный,  
И в лоне вод, как сквозь стекло,  
Село?

Рисунки и офорты Мишенского делают этот миробраз наглядным, осязаемым. Виды малой родины – это прежде всего открытые пространства. Холмистая местность открывает не только дороги, устремленные вдаль, к горизонту, но и вписывает пространство души в бесконечность неба, в горнее. Пруд, луг, гора, ключ, заросли деревьев, церковь, кладбище, стог сена, телега, дорога, беседка – всё это оваяно дыханием легкого ветерка, словно струится... И в памяти сразу же возникают воздушные стихи:

Легкий, легкий ветерок,  
 Что так сладко, тихо веешь? <...>  
 Я смотрю на небеса...  
 Облака, летя, сияют  
 И, сияя, улетают  
 За далекие леса.

Деревенский топос Жуковского распространяется до пространства самой жизни.



Рисунки воспроизведены по изданию: [18. С. 30–33].

Обратившись в мае–июле 1839 г. к новому переводу «Сельского кладбища», Жуковский в предисловии писал: «Греева элегия переведена мною в

1802 году и напечатана в «Вестнике Европы» <...> Находясь в мае месяце 1839 года в Виндзоре, я посетил кладбище, подавшее Грею мысль написать его элегию <...> там я перечитал прекрасную Грееву поэму и вздумал снова перевести ее как можно ближе к подлиннику» (З. Т. 2. С. 717).

Как уже неоднократно и убедительно показано исследователями переводческой деятельности Жуковского, в переводе «Сельского кладбища» 1802 г. определяющим началом была установка на создание элегической модели карамзинского толка. В переводе 1839 г. изначально видим разрушение принципов сентименталистской поэтики. Отказ от строфического деления, гекзаметр способствуют воссозданию единого лирического потока как мыслительного и описательного процесса. В связи с этим жанровые признаки затушевываются. Открываются перспективы нового жанрового определения, введенного Жуковским для поздней лирики – «эпическое стихотворение».

«Уснувший мир уступая молчанию и мне» (IV, 28–29) – эти слова, столь важные для поэтики греевской элегии и отсутствующие в первом переводе, – указание на синтез описательно-панорамного и субъективного начал. Мир воссоздан Жуковским в объективном описании и в восприятии личности. Для Жуковского важна здесь авторская позиция. Меняется прежде всего облик лирического героя. На смену «певцу уединенному» приходит герой, более связанный с миром: «простую повесть об них рассказавший». Определение «простая», трижды повторяющееся в тексте перевода («простая летопись бедного», «простая надпись», «простая повесть»), скрепляет мир простых человеческих ценностей и позицию героя. Характерно в этом отношении последовательное изъятие из его характеристики определения «чувствительный». Трижды оно повторяется в переводе 1802 г. и ни разу в переводе 1839 г. Более того, Жуковский ищет ему замену. Ср.:

*«Сельское кладбище» (1802)*

1. *Чувствительный* придет услышать жребий твой;
2. Он кроток сердцем был, *чувствителен* душою...;
3. *Чувствительным* Творец награду положил (I, 56–57).

*«Сельское кладбище» (1839)*

1. <...> кто-нибудь сердцем близкий тебе...;
2. Был он душой откровенен и добр, и его наградило небо... (II, 315);
3. Нет соответствия.

Думается, это изменение важного для перевода 1802 г. определения связано с общим разрушением атмосферы существования лирического героя. В первом переводе его биография пронизана сентименталистскими формулами, передающими состояние чувствований и заданных эмоций. Устойчивые элегические формулы препятствуют раскрытию живого облика человека-героя. В переводе 1839 г. его поведение более жизненно и действенно; он не только автор «простой повести», но и сама его история проще. Ср. некоторые параллельные места двух переводов:



| <u>«Сельское кладбище» (1802)</u>  | <u>«Сельское кладбище» (1839)</u>   |
|--|---|
| И твой ударит час, последний, роковой...   | Соответствия нет.   |
| <...> услышать жребий твой...  | Знать пожелает о том, что случилось с тобой   |
| <...> Когда спешил на холм зарю предупредить.  | На рассвете поспешным<br>Шагом, росу отряхая с травы, всходил на при-<br>горок<br>Встретить солнце... |
| Там часто в горести беспечной, молчаливой<br>Лежал, задумавшись, над светлою рекой...                | <...> лежал он<br>В полдень, и слушал, как ближний ручей жур-<br>чит, извиваясь...                    |
| <...> и в роще соловей<br>Свистал вечерню песнь – он томными очами<br>Уныло следовал за тихою зарей. | <...> у входа в долину стоял он, за солнцем<br>Следя взором и слушая зяблицы позднюю<br>песнь.        |
| Здесь пепел юноши безвременно сокрыли...   | Юноша здесь погребен...   |

Уже эти примеры красноречиво передают суть эволюции образа героя. Жуковский решительно изымает из текста перевода 1839 г. всю психологическую атрибутику чувствительного героя. В рассказе «поседелого старожила» его действия естественнее и оттого жизненнее. Поведение героя в большей степени определяется его размышлениями на сельском кладбище: Жуковский теперь и подчеркивает это. Восприятие мира в этом переводе глубоко лично-стно, в то время как в раннем переводе судьба героя лишь постскрипту к общей элегической медитации. Элемент риторики ощутим из-за разъединенности двух типов повествования. Обилие старославянизмов, типа «праотцы», «всемощныя», «вотще», «персть», «стезя», «глас», «потщившись», которыми насыщена медитация, указывает на связь перевода 1802 г. с одической традицией. Риторическое начало вступает в известное противоречие с обликом чувствительного героя, что и делает всю историю героя всего лишь эпилогом к элегии.

В переводе 1839 г. описательный и риторический пласты слиты более органично как части единого эмоционального потока. Риторический пласт приобретает от этого большую лирическую обобщенность и жизненную достоверность. Ораторские тирады и живая лирическая эмоция взаимодействуют. В переводе 1802 г. вопросительная мелодика достаточно риторична:

*И кто с сей жизнью без горя расставался?  
Кто прах свой по себе забвенью предавал?  
Кто в час последний свой сим миром не пленялся  
И взора томного назад не обращал? (I, 55).*

Каждый из структурно однотипных вопросов, членящих строфу на законченные мысли-предложения, не требует ответа. Все вопросы погружены в общий поток медитации: их функция не информативна. В них нет движения мысли, а эмоциональный накал во многом определяется законами одической риторики.

В переводе 1839 г. все вопросы не просто слиты в один эмоциональный поток, но и за счет предельного распространения повествовательного начала и плавного течения гекзаметра образуют вопросительно-ответную цепь:

<...> И кто же,  
 Кто в добычу немому забвению эту земную,  
 Милую, смутную жизнь предавал и с цветущим пределом  
 Радостно-светлого дня расставался, назад не бросая  
 Долгого, томного, грустного взгляда (II, 316).

Прием насыщения вопроса ответной эмоцией, выраженной в трехступенчатых определениях, роднит перевод «Сельского кладбища» с поэтическими переложениями прозы, в частности с «Ундиной». Прием трехступенчатых определений («Эту земную, милую, смутную жизнь», «долгого, томного, грустного взгляда»), а также употребление сложных, гомеровского типа эпитетов (в первом переводе их нет ни одного, во втором – пять) свидетельствуют о новом качестве лиризма Жуковского. На смену лиризму песенного типа, характеризующемуся предельной обобщенностью эмоции, приходит более детализированное описание чувства. Вариативность чувства подчеркнута его дифференциацией, вероятностью («быть может»). Детализация, обусловленная общим эпическим контекстом, способствует становлению лирики более конкретного выражения и настроения. И вопросы, и рассуждения в большей степени теперь прикреплены к субъекту высказывания, а картины окрашены его живым, непосредственным чувством. Ср.:

*«Сельское кладбище» (1802)*

Денницы тихий глас, дня юного дыханье,  
 Ни крики петуха, ни звучный гул рогов,  
 Ни ранней ласточки на кровле щебетанье –  
 Ничто не вызовет почивших из гробов (I, 53).

*«Сельское кладбище» (1839)*

<...> ни веселый  
 Голос прохладно-душистого утра, ни ласточки ранней  
 С кровли соломенной трель, ни труба петуха, ни отзывный  
 Рог, ничто не подымет их боле с их бедной постели (II, 314).

В переводе 1839 г. Жуковский «засемляет», «одомашнивает» ситуацию. «Веселый голос прохладно-душистого утра» – образ, вобравший и «денницы тихий глас», и «дня юного дыханье», образ-камертон для всего последующего повествования. Трель ласточки, труба петуха, отзывный рог – конкретизация этого образа, музыка утра. Если в переводе 1802 г. из образной системы жизни мысль поэта сразу же обращается к царству смерти («не вызовет почивших из гробов»), то в переводе 1839 г. и потусторонний мир дан в координатах той же образной цепи: «<...> не подымет их боле с их бедной постели». Большой мир («уснувший мир», «мир <...> безмолвного древнего царства», «вечный мир»), бытие раскрывается в богатой гамме звуков жизни. «Колокол поздний», «тихое бляенье стада», «жужжанье жука», «жалобный крик совы», звук топора и т.д. – во всех этих звуках мир сельского кладбища хранит память о живом мире, живущих людях.

В воспоминаниях о поселянах, в которых «холод нужды умертвил благородный их пламень...», возникает веселый мир: «веселый голос прохладно-душистого утра», «как весело в поле <...> они выходили», «вдоль свежей, сладко-бесшумной долины жизни», «цветущим пределом радостно-светлого дня». Эпическое повествование, сняв риторичность сентиментального чувствава-

ния, придавало не просто обстоятельность, конкретность описаниям, но и выявило многокрасочность чувства. Деревенский топос в поэзии Жуковского 1830-х гг. наполняется эпическим содержанием и связан с его поисками в области «повествовательной поэзии».

1840-е гг. внесли существенные коррективы в размышления Жуковского о проблемах русской деревни. Революция 1848 г., очевидцем которой он оказался, обострила общественный пафос и публицистический характер его рефлексии. Одним из первых в истории русской общественной мысли он обратил особое внимание на опасность исключения из понятия «народ» высшего и среднего класса, следования доктрине новейшей философии: *la propriété c'est le vol* (собственность – кража). «Толпа пролетариев, которым нужно иметь чужое, дабы иметь что-нибудь своё» [16. С. 539] – так Жуковский в письме великому князю Александру Николаевичу формулирует новую социальную реалию современной истории, ведущую к разрушению не только порядка, но и нравственных основ государственного бытия. Эта опасность пролетаризации общества обостряет в рассуждениях Жуковского проблему крепостного права в России. «У нас еще нет пролетариев, – пишет он в заключительном фрагменте письма, – есть *искусственные* пролетарии; но правительство, которое само произвело их, может легко их уничтожить» [16. С. 542]. Очевидно, что «искусственные пролетарии» в лексиконе автора письма – это крепостные крестьяне, и Жуковский акцентирует в этом процессе пролетаризации русского общества роль правительства. Показательно, что именно в 1848 г. Николай I образует Комитет по выкупу крепостных крестьян, но все-таки не решается на радикальные меры по освобождению крестьян. Голос Жуковского не был услышан нынешним правительством, но он не мог не проникнуть в сознание наследника престола.

Работа над переложением гомеровского эпоса (именно в 1828 г. он создаст свою «Малую Илиаду») способствовала формированию повествовательной поэзии, о которой сам поэт будет нередко говорить в своих письмах. Семилетняя работа над переводом «Одиссеи» (1842–1849), которая «созидалась в борьбе с визгами подстрочника, революции и современной «конвульсивной» поэзии» и которую исследователь называет не без оснований «его бидермайерская ТЕОДИССЕЯ» [9. С. 261], стала итогом деревенского дискурса Жуковского. Но это тема уже специального исследования.

В течение почти 50 лет, от появления на страницах карамзинского «Вестника Европы» в 1802 г. «Сельского кладбища» до публикации в различных периодических изданиях статей о революционных событиях 1848 г., Жуковский формировал в русском общественном сознании образ русской деревни и проблему положения крестьян. В своей поэзии он озвучил деревенский топос, воссоздал его как общероссийское пространство. Музыка деревенского вечера, пейзажные зарисовки, лиризм песенного типа вводили деревенскую тему в русское сознание, приближали ее к читателю. В этом смысле он поистине «разрыхлил русскую душу». Баллады способствовали антропологизации этого пространства. «Людмила» и «Светлана» продолжали традицию «Бедной Лизы» Карамзина, акцентируя способность простой русской девушки противостоять обстоятельствам и бороться за свою любовь. Идиллии Жуковского открывали возможности в раскрытии буден деревенской жизни и мышления обыкновенного крестьянина. В набросках «рус-

ской повести», в материалах «Собирателя» и «Муравейника», во втором переводе «Сельского кладбища», в «народных песнях» и политической публицистике он выявлял взаимосвязь деревенского дискурса с идеями своей педагогики и проблемами национального эпоса.

Поэт и переводчик, педагог и историк, идеолог и культуртрегер николаевского царствования, формировавший идею Святой Руси, создатель государственного гимна России, он был умеренным либералом, но его голос был услышан и отозвался в последующей русской культуре от Пушкина и Гоголя до деревенской прозы 1960-х гг.

### Литература

1. Соловьев В.С. Родина русской поэзии: По поводу элегии «Сельское кладбище» // Вестник Европы. 1897. № 11.
2. Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994.
3. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 1999–.
4. Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895.
5. Топоров В.Н. Пушкин и Гольдсмит в контексте русской Goldsmithiana'ы (к постановке вопроса). Wien, 1992.
6. Ветшева Н.Ж. Замысел поэмы «Весна» в творческой эволюции Жуковского // Жуковский и русская культура: сб. науч. тр. Л., 1987.
7. Вигель Ф.Ф. Записки / ред. и вступ. ст. С.Я. Штрайха. М., 1928. Т. 1.
8. Вацуро В.Э. Русская идилия в эпоху романтизма // Русский романтизм. Л., 1978.
9. Виноцкий И. Дом толкователя: Поэтическая семантика и историческое воображение В.А. Жуковского. М., 2006.
10. Собиратель. 1829. № 1–2.
11. Вестник Европы. 1808. Ч. 42, № 21. Ноябрь.<sup>1</sup>
12. Айзикова И.А. Жанрово-стилевая система прозы В.А. Жуковского. Томск, 2004.
13. Российская Национальная библиотека (РНБ). Ф. 286. Оп. 1. № 126.
14. Янушкевич А.С. Круг чтения В.А. Жуковского 1820–1830-х годов как отражение его общественной позиции // Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Ч. 1. Томск, 1978.
15. Гузаиров Т. Жуковский – историк и идеолог николаевского царствования. Тарту, 2007.
16. Жуковский В.А. Сочинения. 8-е изд. СПб., 1885. Т. 6.
17. Милонов Н.А. Тульский край в рисунках В.А. Жуковского. Тула, 1982. С. 30–33.

<sup>1</sup> Ср.: [З. Т. 12. С. 189].